

Переводчики

*Кто не ведает дальних дум,
не избегнет близких огорчений.*

Конфуций

МОЁ поколение, вступавшее во взрослую жизнь, случайно захватившее в начале 60-х хрущёвскую «оттепель», читало много переводной западной литературы, выписывало журнал «Иностранная литература». Большинство начинало с Ремарка, с его «Трёх товарищей» и «На западном фронте без перемен». Потом массовый психоз охватил читателей с появлением книг Эрнеста Хемингуэя. Наверное, старик Хэм, как ласково и панибратски называли писателя ярые поклонники и последователи его таланта, дольше всех продержался на нашем книжном рынке и пожал щедрую жатву.

Он подходил советской идеологии. Хемингуэй переведён весь, даже его неоконченные вещи. Выходил он отдельными книгами, коих у него было около десятка, собрания сочинений тоже издавались многократно и во всех издательствах страны, чтобы не развозить составы с книгами Хэма из Москвы во Владивосток. Хемингуэя переиздавали для финансового благополучия из-

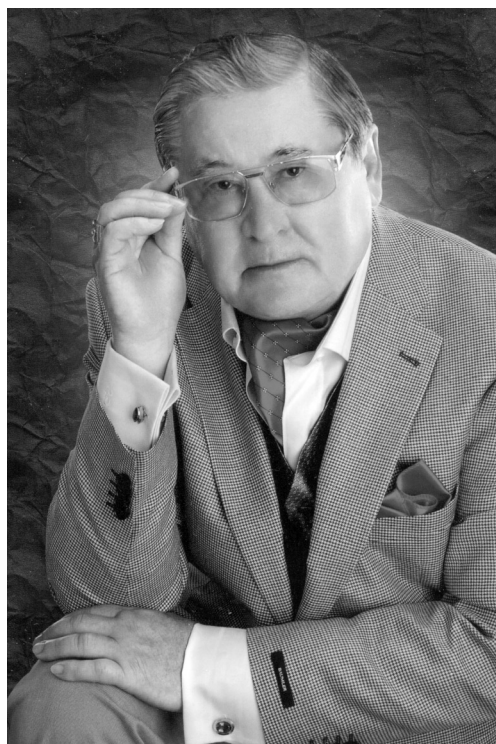
дательств, особенно провинциальных. Когда объявляли подписку где-нибудь в Душанбе, Ташкенте или Новосибирске, то в течение двух-трёх недель собирали миллионы «живых» денег, таковы были тиражи. Советы умели вести книготорговлю, она приносила доход не меньше водки.

Хэм, которого я перечитал всего и даже с удовольствием, всё-таки не мой писатель, и я уже объяснял почему, когда писал о Ф. С. Фицджеральде. Но ему, Хэму, как бульдозеру, расчистившему путь для других западных писателей, огромное спасибо. Смее утверждать, что тогда почти каждый месяц выходили новые переводные книги со всего света, что ни день читателям открывались новые имена: Генриха Бёлля, Дюрренматта, Макса Фриша, Гюнтера Грасса, Джона Апдайка, Ирвина Шоу, Маркеса, Ежи Стефана Ставинского, Станислава Дыгата, Ежи Путрамента, Болеслава Пруса, Акутагавы, Франсуазы Саган, Анри Труайя, Кафки, Сартра, Кортасара, Ремарка, Германа Гессе, Томаса Вулфа.

Появилось множество имён с латиноамериканского континента, мощно стали печататься японцы, австралийцы, скандинавы, новозеландцы. Особенно стояла американская литература с тем же Хемингуэем, Фицджеральдом, Фолкнером, Драйзером, Сэлинджером и более поздними Куртом Воннегутом, Робертом Пенн Уорреном. За одно столетие литература Нового света встала вровень с мировой, такого в истории человечества не припомню.

Будь под рукой у меня моя огромная, собранная за сорок лет со знанием и любовью библиотека, которой я очень гордился, легче было бы перечислить имена, даже названия самих книг, прозвучавших в то или иное время, да и годы издания можно было бы указать точно, но... увы. Она осталась в Ташкенте. «Коль нет цветов среди зимы, так и жалеть о них не надо», – как сказал Сергей Есенин, произведения которого появились тоже только в хрущёвскую оттепель, до того и он был под запретом. Нынче всё надо объяснять с нуля, оборвалась культурная связь между поколениями, к сожалению, навсегда. Невосполнимая утрата!

Кому же мы обязаны столь щедрым подарком, тому морю-океану книг, появившихся в нашей жизни? Те переводные книги лучших мировых писателей, сеявших высокие гуманистические идеи, стали мощной культурной платформой для нескольких поколений советских людей. И нынче, запоздало попав за границу, мы поражаем жителей этих стран знанием их уклада жизни, истории, культуры, спортивных достижений и, прежде всего, литературы. Мы часто открываем им их же писателей, поэтов, великих музыкантов, скульпторов, архитекторов. Мы, советские люди, как странно это ни прозвучит, были самыми информированными в окружающем нас мире, хотя и были заперты, «железный занавес» – не фантазия. Мы были самой читающей страной мира, без натяжки. Книга, её создатели ценились и в верхах, и в низах. Это важное преимущество, как и многое другое, мы безвозвратно потеряли.



Рауль Мир-Хайдаров

Так всё-таки кому же мы обязаны тем, что в наших миллионах библиотек, частных и государственных, половина книг оказалась мировыми шедеврами? В первую очередь, конечно, Максиму Горькому. Ещё на заре советской власти, в нищей и полуграмотной стране он составил огромный список в тысячи и тысячи книг, которые следовало знать гражданам новой рабоче-крестьянской страны. М. Горький прекрасно знал историю мировой литературы, сам – авторитетный в мире писатель, драматург, он много читал, встречался лично с выдающимися писателями мира. Большая часть его задумок, идей реализовалась в 1970 годах в БВЛ – Библиотеке всемирной литературы, это, безусловно, его детище. Но за бортом БВЛ осталось много достойных книг и имён, предложенных Горьким, вот они и издавались в 60-х, разумеется, с учётом текущих литературных открытий.

Но в равной степени, той же благодарности, что и Горький, заслуживают наши отечественные переводчики со всех мировых языков. К 1960 годам сложилась огромная группа первоклассных мастеров, состоялась лучшая, на десятилетия вперёд, переводческая школа в мире. Наиболее одарённые из них работали не только по заказам издателей, но и сами, на свой страх и риск, и, прежде всего, на свой вкус переводили всё достойное в мире. Им, переводчикам, тоже повезло, их труд попал на благодатную почву, к 1960-м созрело высокообразованное общество, тянувшееся к литературе. Всё совпало во времени и в пространстве, нам, читателям, повезло, мы без отставания на годы читали лучшие книги в мире.

Следует отметить и руководство книгоиздания в стране, в те годы и до самого развала СССР у его руля стояли такие энциклопедически образованные, рафинированной культуры люди, как Михаил Ненашев, к примеру. Это под его руководством появилась в Москве ежегодная ММКВЯ – Международная московская книжная выставка-ярмарка.

Мне повезло, за десятилетия мне удалось познакомиться с некоторыми из мастеров, составивших мировую славу советской переводческой школы. Что и говорить, их труд часто оставался в тени, без признания. Будем откровенны, большинство читателей даже не интересовалось, кто перевёл ту или иную книгу. Многие переводчики известны не дома, а на родине тех, кого они переводили. И литературными наградами и премиями их обходили у себя дома, а звания, ордена, почётные титулы вручали им больше за рубежом.

К сожалению, умерла советская переводческая школа, сошли на нет известные во всём мире имена, наверное, только Евгений Солонович, выдающийся переводчик итальянской поэзии и Михаил Синельников, переводчик с языков народов СССР, и остались. Я лет пять назад случайно летел с Солоновичем в одном самолёте в Рим и видел, как его встречали в аэропорту – цветы, шампанское, улыбки, восторг, восхищение

– всё, как на приёме в Кремле. Может, и доживут дорогие Женя и Миша, старые малеевцы, до высокого признания и у себя на Родине.

Да, Малеевка... Как раз там у меня случилась одна знаменательная встреча, которую я никогда не забываю. И ненадолго заскочим домой к Т. Н. Вирта, благодаря которой и состоялась та встреча.

Я бывал в доме академика Юрия Моисеевича Кагана – будущего лауреата Нобелевской премии, с семьёй которого близко познакомился в Малеевке, часто отдыхал в Пицунде вместе с ними в одной компании. Сестра Юрия Моисеевича, писательница Елена Ржевская, главный переводчик на Нюрнбергском процессе, написала одну из лучших книг о войне – «Под Ржевом», где она сама попала со штабом армии в окружение.

Жена Юрия Моисеевича, Татьяна Вирта – дочь Николая Вирты, четырёхкратного лауреата Сталинской премии, его роман «Одиночество» – до сих пор в литературном поле. Сама Татьяна Николаевна перевела все произведения Иво Андрича, тоже некогда претендовавшего на Нобелевскую премию. В Югославии её переводы на русский язык ценились высоко, она стала в Белграде лауреатом нескольких литературных премий. Вот сколько талантов в одной только семье! А ещё я не сказал об их сыне, физике, докторе наук, проживающем в Лондоне.

В этой семье собирали живопись, у них в коллекции есть работы абсолютно всех художников, участвовавших в той знаменитой «бульдозерной» выставке, которую разогнал Н. Хрущёв, кроме Эрика Булатова. Если до встречи с ними я собирал живопись спонтанно, то после знакомства с коллекцией картин семьи Ю. М. Кагана, стал собирать более тщательно, осознанно. Каждое чаепитие в этом доме рафинированной культуры поднимало меня на новую высоту. Татьяна Николаевна говорила, что домашний язык у них – английский.

В свою третью зиму в Малеевке (1978) я сидел за столом с Татьяной Вирта, очень милой, умной, тактич-

ной женщиной, она читала многие мои вещи в рукописи, и советы её оказывались дельными, точными. И однажды, после ужина мы с ней уговорились пойти в кино, показывали «Репетицию оркестра» Ф. Феллини, и в Доме творчества даже возник какой-то ажиотаж, повсюду за столами слышалось – Феллини, Феллини,.. хотя этот фильм уже вышел на экраны, и я его видел. Я поджидал Татьяну Николаевну с билетами в холле, как вдруг увидел, что возле невысокого плотного старика в тяжёлом вязаном свитере, который присел в кожаное кресло у бюста Серафимовича, собралась толпа, словно каждый хотел лично засвидетельствовать ему своё почтение. Человека в кресле, то и дело приподнимавшегося, чтобы пожать чью-то руку, я видел впервые. Не встречал его ни разу ни в ЦДЛ, ни в Домах творчества на море, ни в Малеевке, но, судя по широкому кругу людей, спешивших поприветствовать его, он был человеком литературы. Тут появилась Татьяна Николаевна, и я полюбопытствовал:

– Кто этот старик, к которому все спешат на поклон?

Она посмотрела в сторону беломраморного Серафимовича и удивлённо спросила:

– Ты не знаешь Соломона Константиновича, не читал «Степного волка», «Игру в бисер»?

– Неужели это Апт? – смутился я. Конечно, я читал почти все его немецкие переводы: и те, что выходили в «Иностранной литературе», и отдельными книгами, читал и «Будденброки», и «Иосиф и его братья» Томаса Манна, первые переводы новелл Франца Кафки в «Литпамятниках», читал пьесы Бертольда Брехта, романы Гюнтера Грасса, В. Кёппена, Генриха Бёлля. За какую-то минуту я сумел сообщить Татьяне Николаевне всё, что знаю о С. К. Апте.

– Соломон Константинович ведёт затворническую жизнь, всегда дома или на даче за письменным столом, откуда же тебе его знать! – смягчилась Татьяна Николаевна. – Подойдём, я тебя познакомлю с ним, наверное, он сегодня после обеда приехал.

Мы подошли и стали ждать своей очереди поприветствовать Соломона Константиновича. Когда он увидел Татьяну Николаевну, легко встал из кресла и, расцеловав её, спросил:

– Вы возьмёте надо мной опеку, милая Татьяна? Введёте в курс дел – кто отдыхает, сводите меня в библиотеку, там есть интересующие меня старые немецкие книги.

Тут раздался первый звонок, приглашающий зрителей в кинозал, и толпа поспешила на второй этаж.

– Соломон Константинович, разрешите представить вам молодого человека из Ташкента. Две минуты назад он сообщил мне, что успел прочитать из ваших переводов – список впечатляет.

Апт протянул мне руку, и я вдруг, неожиданно для себя, легонько развернув его кисть, поцеловал Соломона Константиновичу руку. В эти минуты я чувствовал себя перед ним, как перед Папой Римским или другим высоким духовным лицом, на этот миг он отождествлял для меня всё высшее в литературе – талант, мастерство, трудолюбие. Наверное, так бы я поступил ещё в двух случаях – если бы передо мной оказались Иван Алексеевич Бунин и Валентин Петрович Катаев. К такому повороту не был готов и Апт, но он мгновенно уловил мою искренность, преклонение и в ответ трогательно меня обнял и, не отпуская, тихо сказал мне одному:

– Спасибо, молодой человек, я очень тронут, для таких, как вы, я и работаю.

Однажды в Коктебеле, уже в 90-х, я разговаривал о переводах С. К. Апта с известным критиком, наверное, самым влиятельным за последние двадцать лет, Виктором Леонидовичем Топоровым. Мало кто знает, что Виктор Леонидович Топоров не только критик, но и блистательный переводчик немецкой поэзии, лауреат множества немецких литературных премий. Он – частый гость на серьёзных конференциях в Германии, от него я тогда впервые услышал оценку профессиональных толмачей перевода романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» Соломоном Аптом: не мешало бы теперь роман обрат-

но перевести с русского на немецкий, чтобы и у немцев появилось великое произведение.

Соломон Константинович за свою долгую жизнь (умер в 2010 году) перевёл многое, я не упомянул ещё его переводы Макса Фриша, очень популярного в 80-х, Роберта Музиля, Фейхтвангера. Он переведил не только с немецкого, но и познакомил нас с античными авторами: Платоном, Эсхилом, Менандром, Аристофаном, Еврипидом, Феогнидом. Апт высоко ценил творчество Т. Манна и для популяризации его в СССР написал биографию писателя в серии ЖЗЛ, выпустил он и сборник очерков «Над страницами Томаса Манна».

Моё поколение, конечно, хорошо знает немецкую литературу, благодаря Соломону Константиновичу, эти мои воспоминания адресованы молодым, немецкая классика ждёт их в лучших переводах.

Семёну Израилевичу Липкину татарская литература благодарна за прекрасные переводы поэзии великого татарского поэта Габдуллы Тукая. С его помощью русскоязычный читатель познакомился с поэмами «Шурале», «Водяная» и другими произведениями поэта. С. И. Липкин перевёл татарский народный дастан «Идегей» и был удостоен Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая (1992). Язык не поворачивается назвать его просто переводчиком, хотя многие национальные культуры обязаны ему тем, что их эпосы, прошедшие через века, стали не только достоянием всех народов Советского Союза, но и вошли в обиход мировой культуры. Любой национальный эпос – это тысячестраничные тексты в нескольких вариантах, которые вначале предстояло слить воедино и ещё доказать местным Академиям наук, что это и есть эталонный вариант. И с этим справился Семён Израилевич, каждая такая работа заслуживала геройского ордена, но республики и автономии такой власти не имели, а верховная власть почти в каждой работе переводчика видела воспевание буржуазной идеологии и

обострённое чувство национальной гордости тех, кому принадлежал этот эпос, поэтому запрещала их на десятилетия.

Так случилось с татарским эпосом «Идегей», он сорок лет был под запретом. Чуть меньше пострадал казахский эпос «Кобланды-батыр». В 2007 году на моей родине в Казахстане, в трёхстах километрах от Актюбинска, на месте захоронения Кобланды-батыра открыли огромный мемориальный центр, посвящённый национальному герою, с музеем, мечетью и гостиницей для паломников.

В музее Кобланды-батыра, имя которого мир узнал благодаря переводам Семёна Израилевича, поэту отведено достойное место – есть его портрет, выбитый в граните в форме морского офицера с орденом на груди, рядом в граните – книга-эпос в переводе Семёна Израилевича и строки из великого народного творения на русском и казахском языках. Тысячи паломников-казахов со всего света приезжают отдать память Кобланды-батыру и поэту Семёну Израилевичу Липкину, прославившему казахского батыра на века. Казахи – народ с крепкой исторической памятью, и пока есть казахи, рядом с Кобланды-батыром будут произносить и имя Семёна Израилевича.

Семёна Израилевича и Инну Львовну Лиснянскую, его супругу, я знаю давно. В моих мемуарах, где говорится о Малеевке, есть и страницы, посвящённые им. Там речь идёт об известном альманахе «Метрополь», все трагические события тех лет разворачивались на моих глазах. Когда за участие в «Метрополе» исключили из Союза писателей Е. Попова и В. Ерофеева, Семён Израилевич и Инна Львовна вместе с Василием Аксёновым в знак протеста вышли из Союза писателей.

Трудно пришлось семье в те годы, их перестали печатать в периодике, не издавались переводы. Но была и одна отрада – кто-то переправил стихи Семёна Израилевича в Америку, и они попали к Иосифу Бродскому, который составил и издал поэтический сборник, дав ему название «Воля». Книга получила ши-

рокий резонанс, и в перестройку Семён Израилевич и Инна Львовна начали снова издаваться в России. Издательство «Ann Arbor», кроме «Воли» выпустило книги «Кочевой огонь», «Сталинград Василия Гроссмана». В издательстве «New York» вышел его роман «Декада». В Лондоне увидела свет поэтическая книга «Картины и голоса». В 1997 году в Москве издали большой поэтический сборник «Квадрига». До «Метрополя» у Семёна Израилевича успели выйти в Москве две поэтические книги: «Вечный день» и «Стихи и переводы».

Но большую часть жизни Семён Израилевич посвятил переводам. Он перевёл калмыцкий эпос «Джангар» и получилось роскошное издание, иллюстрированное гравюрами В. Фаворского. За эту работу Липкин был отмечен званием Народного поэта Калмыкии, но тут без доброго вмешательства Давида Никитича Кугультинова не обошлось, который после ссылки пользовался у себя в Элисте высочайшим авторитетом, он-то понимал, какую работу проделал Семён Израилевич.

С. И. Липкин перевёл киргизский эпос «Манас», кабардинский «Нарты», перевёл поэму «Шахнаме» Фирдоуси, поэму «Лейла и Меджнун» Навои, стихи и поэмы Джами. Перевёл бурятский эпос «Гэсэр». Даже индийские поэмы «Бхагавата», «Махабхарата» пришли к нам с Липкиным.

В молодые годы, с 1965 по 1985 год, я часто посещал Таджикистан, объездил эту небольшую республику из края в край, бывал в Душанбе, очень зелёном и уютном, но чаще всего я ездил в Ленинабад – ныне, как и в царское время, Ходжент.

На Востоке общественная жизнь протекает в чайхане, и её никак не минуешь. Чайхана – мужской клуб, общедоступный для всех – от академика до дворника, более демократичного сообщества, чем там, в чайхане, я не встречал. Тут решаются судьбы свадеб и похорон, здесь отмечают личные, государственные и религиозные праздники, здесь любят завтракать, обедать и ужинать, здесь назначают встречи, сюда за-

ходят просто выпить чайник чая или узнать последние новости. Седобородые аксакалы с утра занимают в красном углу привычные места. Есть чайханы и в Ташкенте, и в южных областях Казахстана, популярны они и в Киргизии, и в Туркмении, быт везде почти одинаков.

Как и повсюду в Средней Азии, в чайхане готовят плов, шашлыки, самсу, пекут тут же к чаю горячие лепёшки в тандырах. Но только в чайханах Таджикистана до трапезы, во время трапезы и после трапезы, всегда и везде, читают стихи и с бокалом вина, и с пиалой зелёного чая в руке. Могут разразиться стихами после проигранной игры в шахматы или после выигрыша в нарды, в восточной поэзии есть ответы на все случаи жизни. Я понимаю тюркские языки, но таджики говорят на древнем фарси, вряд ли время изменило их язык со времён Саади, Хафиза и Фирдоуси. Вся великая ирано-таджикская поэзия написана на фарси, таджики называют свой язык языком поэзии, и я с ними солидарен. Я часами просиживал в чайханах, очарованный звуковым рядом рифмованных строк, журчащих, как горный ручей. Даже не понимая сути, осознаёшь, что это – действительно язык поэзии. Мне кажется, если кто-то в стихосложении был первым, то стихи эти прозвучали именно на фарси.

Если к поэзии повсюду причастна только интеллигенция, высокообразованная часть общества и нации, то у таджиков – будь он пастух, инженер, бухгалтер, грузчик, академик – все знают на память стихи своих великих поэтов. «Незнание поэзии у нас, таджиков, ставится в ранг невежества», – так объяснил мне в ту пору один чайханщик в Исфаре. Благодаря фарси и своим великим поэтам, таджики связаны с поэзией больше, чем с религией. Каждый раз, упиваясь в чайхане стихами, прочитанными на память седобородыми аксакалами или юнцами, впервые накрывшими дастархан среди взрослых, я всегда жалел, что не знаю фарси.

Однажды в Москве, не помню уже в связи с чем, кто-то спросил меня: «Если бы Всевышний мог тебе подарить зна-

ние только одного иностранного языка, какой бы ты выбрал?» Передо мною тут же возникли в памяти таджикские чайханы, и я услышал мелодию и ритм стихов любимых мною поэтов – Саади, Хафиза, Фирдоуси и моего ровесника Лоика Шерали, и я радостно, словно уже сбылась моя мечта, выпалил: «Только фарси!» Почему не английский? Я объяснил со всей свойственной мне страстью – почему, но никто меня не понял. Думаю, я даже упал в их глазах. Фарси?!

Сегодня я понимаю, что меня без раздумий понял бы Семён Израилевич. Чтобы перевести Рудаки, Руми, Амира Хосрова Дехлеви, он в совершенстве выучил фарси. Помню, когда в Переделкине появилась первая волна беженцев, состоящая из прозаиков и поэтов из Душанбе, я видел, как Семён Израилевич часами беседовал с ними на их родном языке. Однажды он сказал: «Дорогой Рауль, жаль, ты не знаешь, какое это счастье читать стихи ирано-таджикских поэтов в подлиннике».

Семён Израилевич прожил долгую и достойную жизнь. Он родился в 1911 году в Одессе и помнил, как в детстве приветствовал Николая II и цесаревича Алексея, когда они посетили его родной город. Поэтический талант Липкина ещё в юности оценили Эдуард Багрицкий и Осип Мандельштам. В восемнадцать лет он переезжает в Москву вслед за своим любимым поэтом Багрицким, которого В. П. Катаев в «Алмазном венце» назвал «Птицеловом», заканчивает Московский инженерно-экономический институт. В том же, 1929 году, начинает публиковаться в московской периодике, но первую поэтическую книгу выпустил только... в 1967 году. Пятьдесят лет писать «в стол»! Какой волей, терпением, любовью к поэзии, верой обладал этот немногословный человек! А ведь в Москве о его поэзии писали Заболоцкий, Ахматова, Слуцкий – даже такие имена не могли открыть ему дорогу к публикациям.

У меня есть книги с дарственной надписью и от Семёна Израилевича, и от Инны Львовны. Для меня была дорога каждая беседа с ними в Переделкине,

где мы прожили в соседстве восемь лет. Многие я узнал от него о Мусе Джалиле. В молодые годы, в середине 30-х, он часто общался с Мусой, переводил его для периодики, не однажды бывал у него дома в Столешниковом переулке. Рассказывал, как они с Мусой из Столешникова переулка ходили пешком в Союз писателей на улицу Воровского. Очень интересно рассказывал Семён Израилевич о Назыме Хикмете, турецком поэте, которого любили в Москве. Из наших бесед с Семёном Израилевичем мне запала в память одна философская мысль, которую он сказал перед самым развалом СССР: «Национальное самосознание прекрасно, когда оно – самосознание культуры, и отвратительно, когда оно – самосознание крови».

Со 100-летием со дня рождения С. И. Липкина, появились новые его публикации. Пусть земля вам будет пухом, дорогой Семён Израилевич, вы много поработали на грешной земле, оставили после себя тысячи километров строк высокой поэзии. Хочу верить, что Всевышний устроит вам встречу со всеми великими поэтами Востока, которых вы своими переводами открыли миру, вы услышите свои любимые стихи из уст самих Хафиза и Саади и всласть поговорите с ними на любимом фарси.

Когда я жил постоянно в Доме творчества в Переделкине, в комнате №106, которую снимал по коммерческой цене, то в течение восьми лет встречался со многими писателями. И мне выпало увидеться ещё с одним замечательным переводчиком.

Как-то зимой, уже после развала СССР, я дописывал ретро-роман «Ранняя печаль», из-за стола не вставал, что называется, ни день ни ночь, потому что законченную главу тут же печатал московский журнал «Мы». Видя мою крайнюю усталость, супруга Ирина стала за час до обеда буквально выталкивать меня на прогулку. У меня даже сложился маршрут, рассчитанный на час – до дома Е. А. Евтушенко и обратно.

Однажды, постояв у безжизненно-го дома Евгения Евтушенко (зимой он

обычно преподавал в Америке), я вернулся на улицу Серафимовича и стал подниматься по ней. Впереди меня шёл, заметно прихрамывая, мужчина высокого роста. Когда я собрался его обогнать, мужчина неожиданно выронил журнал. Я быстро поднял и передал какой-то французский буклет хозяину. Он поблагодарил меня, и мы дальше пошли вдвоём. «Я видел вас здесь в прошлом году, любите Переделкино?» – спросил он меня артистически-бархатным баритоном. Я ответил, что живу здесь постоянно уже два года и объяснил – почему. Так мы и разговорились. Я любопытствовал: читаете по-французски? Он ответил: немного. Дальше разговор зашёл о французской прозе, о последних публикациях в «Иностранной литературе», я чувствовал, что он неравнодушен именно к французской литературе. Но он больше старался расспрашивать меня.

У каждого серьёзного писателя есть книги, которые сформировали его вкус, характер, определили жизненную позицию, взгляд на мир. Есть такие книги и у меня – прежде всего, книги Ивана Бунина, Валентина Катаева, «Условия человеческого существования» Дзюмпэя Гомикавы, «Бильярд в половине десятого» Генриха Бёлля, «Степной волк» Германа Гессе, «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вулфа, «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда, «Путешествие» Станислава Дыгата.

Есть среди моих обожаемых авторов и молодой француз Ален Фурнье, погибший в Первую мировую войну. Он успел написать всего одну небольшую книгу «Большой Мольн», после его смерти она выдержала более пятидесяти изданий и переведена на многие языки мира. Вот об этом романе и его авторе я и стал рассказывать своему спутнику, обожавшему французскую литературу. Эта книга произвела на меня впечатление на всю жизнь, каждые пять-шесть лет я её перечитываю, восторгаюсь не только текстом, но и блестящим переводом.

Когда я начал рассказывать про Алена Фурнье, мой собеседник стал

внимательно прислушиваться ко мне, задавать уточняющие вопросы. Когда уже показался новый четырехэтажный краснокирпичный корпус Дома творчества, у которого нам приветливо помахал рукой Ярослав Голованов, живший напротив на даче, я сказал, как бы подытоживая наш разговор: «Жаль, что вы не читали эту великую книгу, вам бы она понравилась, рекомендую». Он весело рассмеялся и вдруг спросил:

– Почему вы решили, что я её не читал?

– Вы же меня так подробно расспрашивали о ней, – ответил я обиженно.

– Да, расспрашивал, мне было интересно выслушать ваше мнение об этой действительно великой книге и её авторе, потому что... – Он остановился, чуть отдышался. – Потому что я её и перевёл. – Протянул мне руку. – Рад знакомству, я – Морис Ваксмахер, вы для меня – заветный читатель, оценили мой давний выбор автора, книги и мой перевод. Кстати, «Большой Мольн» не был заказом издательства.

Настали нелёгкие 90-е, и хотя я ещё шесть лет прожил в Переделкине, Мориса Ваксмахера в Доме творчества больше не видел. Ещё года через два из «Литературной газеты» я узнал, что издательство «Художественная литература» перешло к частному владельцу, и заведующего отделом иностранной литературы, талантливого переводчика Мориса Ваксмахера уволили... за ненужностью.

Когда я перечитываю книги Алена Фурнье и другие переводы с французского моего случайного попутчика в Переделкине, я всегда слышу бархатный голос Мориса Ваксмахера, большого знатока французской литературы и великого переводчика. Уверен, его книгам уготована вечная жизнь.

Хотел бы отметить ещё одного любимого мною выдающегося переводчика, без упоминания о нём, его книг, разговор о переводах не серьёзен. Благодаря ему я прочитал «Свет в окне» и «Когда я умирала» Фолкнера, «Теофил Норт» и «Мост короля Людовика Святого» Уайлдера, «Другие голоса,

другие комнаты» Капоте, «Над кукушкиным гнездом» Кизи, «Заблудившийся автобус» Стейнбека, «Вся королевская рать» Уоррена – бестселлер 70-х. Он переводил Оруэлла, Вулфа, Стайрона. Перевёл у Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», у Макьюэна «Мечтатель» и «Амстердам».

Я имею в виду знаменитого Виктора Петровича Голышева. Он старше меня на четыре года. К сожалению, я с ним не знаком, видел его несколько раз в ЦДЛ в конце 80-х, однажды столкнулся лицом к лицу в приёмной директора издательства «Художественная литература» Георгия Анджапаридзе. И всё. Видать, не судьба. Но это не меняет моих глубоких симпатий к нему. В молодые годы он находился в ближнем кругу друзей Иосифа Бродского, тот посвятил Виктору Голышеву одно из лучших своих стихотворений – «1972 год», где подводятся некий итог жизни его тридцатилетних друзей. Не могу не отметить, что Голышев и в ЦДЛ выделялся аристократической внешностью, манерами, он очень элегантно и стильно одевался. Даже издали в нём чувствовался независимый характер, понимание собственного места в литературе. «Штучный человек», как сказал когда-то о нём Валентин Петрович Катаев.

Годом позже после знакомства с Морисом Ваксмахером, там же, на улице Серафимовича, на прогулке рядом с дачей Роберта Рождественского у меня произошла ещё одна трогательная встреча. Стояла поздняя осень, но погода выпала солнечная, тёплая, и наша главная переделкинская улица преобразилась, канадские клёны ещё щеголяли золотом и багрянцем. Особенно красиво выглядел сад за высоким забором дачи Роберта Рождественского. Возле неё стоял высокий поджарый старик, и я не понял, то ли он стучался в калитку, то ли разглядывал сад. Поравнявшись с калиткой, я поздоровался с незнакомцем по-восточному – на всех тюркских языках приветствие звучит одинаково: «Салям алейкум!» Незнакомец неожиданно улыбнулся и ответил: «Алейкум вассалам!» И спросил: отку-

да вы, молодой человек? Я ответил: из Ташкента. Дальше мы, как и с Морисом, пошли вместе. Теперь уже любопытствовал я:

– Кто вы? Откуда? Я видел вас утром на завтраке!

– Я из Ашхабада, из Туркмении, а моя фамилия вам ничего не скажет. В литературу пришло новое поколение, оно не знает нас, мы – их. Вот вас тоже не знаю. В 50–60-х я часто бывал в Переделкине, у меня в Москве вышло с десятков книг. Я очень любил Москву, пять раз бывал на съездах писателей...

– И всё-таки, как ваша фамилия, может, я знаю вас, читал ваши книги, мы, пятидесятилетние, знаем предыдущее поколение, – настаивал я.

Старик грустно поглядел на меня.

– Если хотите разочароваться – пожалуйста. Я – Анна Ковусов, народный поэт Туркмении, меня Роберт в молодости переводил, поэтому я оказался возле его дома.

– Анна Ковусов... – словно раздумывая или припоминая, произнёс я протяжно и вдруг, на удивление самому себе, не говоря уж об ошеломлённом старике, начал читать отрывок из его лирической поэмы.

Всегда, когда слышу выражение «рояль в кустах», вспоминаю этот случай. Старый поэт из Ашхабада, приоткрыв рот от волнения, не мог ничего сказать, принимая всё за сон или за розыгрыш. А я выуживал из самых глубин памяти строку за строкой и всё читал и читал, вдохновляясь, как некогда в юности на вечеринке у Галочки Старченко в Актюбинске на улице Панфилова, 15. И видел как у Анна-агая от волнения и неожиданности потекли слёзы, наверное, это были слёзы о чём-то давнем, личном. Он был уже стар, далеко за семьдесят, и ему нужно было где-то присесть. У дачи Николая Павловича Воронова, прекрасного прозаика, незадолго забытого, стояла скамейка, и я подвёл Анна-агая к ней. Мы долго сидели молча, наверняка оба думали о чём-то очень давнем, но связанном с этими строками о несбывшейся любви. Потом он вдруг спросил:

– Откуда вы знаете этот отрывок, самый главный в моей поэме «Мой аул», я ведь написал эти строки давно, в молодости, в год смерти Сталина, в 1953 году?

Мне пришлось рассказать о себе, своей студенческой юности, о далёком, продуваемом ветрами Актюбинске, о нашей юной компании, о вечеринках, на которых у нас было заведено читать стихи. Как мы, юноши, для того, чтобы привлечь девичье внимание, обходили библиотеку за библиотекой, перебирали десятки томов поэзии, чтобы выудить хотя бы одно подходящее стихотворение. Рассказал я Анна-агаю, что отыскал только два лирических стихотворения, которые пришлись мне по душе, они принимались на наших встречах всегда на ура. Это – монолог Арбенина из «Маскарада» Лермонтова и отрывок о Гульджамал из поэмы «Мой аул». Я даже назвал Анна-агаю год издания и издательство – «Советский писатель», 1957 год. Рассказал ему, что когда-то даже написал рассказ «Монолог Арбенина» об этих поэтических вечерах.

– Пойдём ко мне, – неожиданно предложил пришедший в себя поэт. – Я привёз редкостный коньяк, который простоял у меня в серванте лет пятнадцать, мне его подарила Сильвия Капутикян, когда я посетил Армению. Надо отметить нашу встречу, отблагодарить вас за стихи, вы хранили их в памяти тридцать пять лет, чтобы сегодня меня обрадовать и разогнать мою печаль. Я ведь слышу этот отрывок по-русски впервые – хорошо звучит, мы стареем, а стихи о любви не увядают, они вне времени...

Мы пошли к Анна-агаю в старый корпус на второй этаж. Коньяк «Васпуракан», действительно, оказался очень старым. Мы сидели долго, даже не пош-

ли на обед. Старый поэт, оказывается, воевал, дошёл до Берлина, прожил достойную жизнь. Дружил с видными людьми своего времени: Мирзо Турсунзаде, Гафуром Гулямом, Берды Кербабаяевым, Расулом Гамзатовым, Мустаем Каримом, Константином Симоновым, Степаном Щипачевым, Мухтаром Ауэзовым, Карло Каладзе, Самедом Вургуном...

Анна-агай Ковусов оказался интереснейшим человеком, по-восточному мудрым. Рассказывая о далёких годах, он вплетал в события стихи своих старых друзей, которых он переводил на туркменский, и теперь уже я поражаюсь его памяти и тому, что он успел сделать. Осенний день короток, за окном потемнело, словно вырубил свет, и я стал собираться, меня дома на столе ждал недописанный роман...

Наливая на посошок, он сказал:

– Здесь я уже три дня, и считал, что зря приехал, напрасно растревожил сердце и память, помните у Сергея Есенина: «Я никому здесь не знаком, а те, что помнили, давно забыли». Поэтому вчера переоформил обратный билет на завтра. Благодаря вам я улетаю не с печалью и обидой на время и место, а с лёгкой грустью и большой радостью. Встречу с вами и со своими стихами считаю ниспосланной мне Аллахом, оттого до конца дней своих я буду помнить нашу встречу, осеннее Переделкино, сад Роберта. Буду счастлив принять вас у себя дома. Если судьба занесёт в наши края, будете желанным гостем, как и все мои друзья, о которых я вам сегодня рассказывал.

На этом мы и распрощались. Больше я никогда Анну-агаю Ковусова не видел, только недавно случайно встретил его фамилию в Википедии. Пути и дела Господни поистине неисповедимы.

Москва